

Иван Григорьевич Подсвиров

СИНИЕ СКАЛЫ

Еще окна в нашей хате не налились сиреневым светом и звезды не остудились в небе от знобкого предутреннего холодка, а отец уже на ногах. В сумраке ходит-бродит по комнате, гулко гремит сапогами, что-то бормочет себе под нос и нещадно дымит злым, забористым самосадам.

Я уже пробудился от его шума, но лежу под теплым одеялом без движения, без признаков жизни. Дым вонючего турецкого табака до слез щекочет мне ноздри, и я креплюсь, чтобы не чихнуть, из боязни напомнить о себе. Мне лень вставать с угретой печи, где сладко пахнет печеными яблоками, что томятся в углу под дерюгой. Но я знаю: волей-неволей вставать придется. Не догадаюсь сам подняться - отец живо с печи стащит. Сегодня мы едем в горы за брусьями, далеко-далеко, по старой опасной дороге...

Бело, льдисто вспыхивают в темной синеве звезды; я гляжу на них, и меня пронизывает ощущение холода и неприкаянности. Я представляю себе, как мы будем ехать с отцом на скрипящей бричке по глухому, безлюдному ущелью - вдвоем, среди настороженной тишины леса, в окружении молчаливых гор, дышащих студеным туманом. Одиноко, неприятно, тревожно... И будет время неотступно преследовать нас, пока не взойдет над ущельем солнце и не растопит в своих лучах космы седого тумана.

И мать уже встала. В длинной белой рубашке, с расплескавшимися по плечам волосами прошла босиком по земляному полу, нащупала в печурке лампу с блеснувшим во тьме пузырем, взяла ее и поставила на стол.

Чиркнула о коробок спичкой, поднесла в дрожащих ладонях желтоватый язычок огня к фитилю. Пламя, смятенно всколыхнув тени, качнулось вправо-влево и замерло в ровном горении. Мать надела на горелку пузырь. В комнате попросторнело, на потолке образовался спокойный круг света. Затем она, зябко поеживаясь от нахолодавшего в доме воздуха, накинула на плечи шерстяной платок и тихо спросила:

- Ты уже собрался?

- Вас бы ждал! - сердито и намеренно громко проворчал из сеней отец. Он всегда был сердит и не в меру суетлив, собираясь на какое-нибудь важное дело. В такие минуты отцу почему-то казалось, что мы с матерью совсем безучастны к его заботам и помогаем ему не по доброй воле. Может быть, в этом он и прав по отношению ко мне, но только не к матери. Засновала, забегала она по комнате, подсобляя ему собирать вещи и наше пропитание в большой полосатый чумал с суровой завязкой на конце.

- Не забудь пилу, - хлопотала мать. - Без нее намучитесь... А хлеб? Взял хлеб? Я его на лавку с вечера положила.

- Хлебушек в чумале, - отец заметно добрел, смягчался сердцем, чувствуя ее трогательную и нежную заботу, глядя, как она бережно укладывала обернутые в бумагу яйца, сваренные вкрутую, как ловко перехватывала веревкой сумку с душистыми яблоками и стеклянной банкой, полной желтоватого сливочного масла. - Не знаю, брать ли помидоры, - говорил он с ожиданием ее совета.

- Берите! - немедля и горячо произнесла мать. - Дорога длинная, вдруг где задержитесь... Человек предполагает, а бог располагает.

Я не помню, чтобы она когда-нибудь молилась перед иконой богородицы, которая с незапамятных дней смиренно глядит из красного угла своими скорбными, печальными глазами. В раннем детстве я не выносил этого взгляда, пристального и укоряющего, и старался не смотреть на икону. И мать тоже почти не замечала ее. Иногда она равнодушно смахивала тряпкой пыль с потускневшей позолоты оклада и опять надолго забывала об иконе. И теперь про бога мать вспомнила на всякий случай: ведь нам предстоит трудная дорога.

- А плащи! - обеспокоилась она. - Где плащи?

- Не бойсь, плащи-то мы не оставим.

Теплится огонь в пузыре, уютный, ласковый... Еще бы вздремнуть часок-другой на печи, под хлопотливый, говорок матери и отца. Но ощущение стыда перед ними перебивает во мне желание сна. Я сбрасываю с себя одеяло, прыгаю на пол. Земля холодит ступни ног, дрожь пробегает по телу, и я тороплюсь поскорее сунуть ноги в шерстяные носки.

Дорога к Синим скалам! Я уже знаю, какая она коварная, чем она грозит нам. От одной мысли о ней делается не по себе, и свет звезд, льющийся из глубины неба, теперь какой-то ожесточенно-суровый. Или это мне только кажется?.. Далась отцу брусья. Я не хочу ехать за ними к Синим скалам. И не нужен мне сосновый пол, который потом отец настелет в спальне. Проживем, не потужим и на земляном полу. Но вот как быть с Назарихой, женой дяди Ивана, старшего брата моего отца? Погиб дядя на Курской дуге, и Назариха колготится сама с двумя дочерьми. В прошлом году с нашей помощью начала она строить дом: старый у нее совсем обветшал.

Нам-то много не надо на полы, а она просила леса на балки. Нет, надо ехать, Назарихе стыдно отказать.

- Федорка, пойдем топор ладить, - говорит отец.

Серые глаза его из-под кустистых русых бровей глядят на меня строго, пытливо и будто спрашивают: "Ну что ты, уже очнулся? Или еще спишь на ходу?" В руках отца синевато-белой сталью отливает топор. Им он много свалил на своем веку широкоохватных дубов и сосен. Еще до войны отец орудовал в наших лесах с этим звонким и легким топором, заготавливая лес для колхозныхстроек. Уходя на фронт, он обмазал его солидолом, обернул в тряпицу и тайком спрятал на потолке у боровка.

Вслед за отцом я иду в сумрачный огород, к ольховому плетню, затянутому жесткой крапивой. На дворе студено. Запредельным сном спит хутор, притушив огоньки в окнах. Тишина... Сослепу, еще не привыкнув к темноте, я натываюсь на каменный круг точила, нащупываю холодную ребристую ручку и начинаю вращать круг, плеснув на него воды из ведерка.

- Поплавно крути, - наставляет меня отец, приноравливаясь к вращению круга. - Спешить некуда. Спешка годится при ловле блох.

Я сбавляю пыл, отец прикладывает блестящую щеку топора к бесконечно бегущей темной дорожке точила, слегка нажимает, давит на круг. В предутренней тишине резок, пронзителен металлический визг, и слышно, как где-то в саду вздрагивают, звенят листья на яблонях...

Очнувшись от сладкой и тяжелой дремы собака у соседа, встряхнулась, зазвенела цепью, недовольно взлаяла в ночь и затихла, очевидно сообразив, в чем дело. Закряхтел в закуте кабан, ему оставалось жить месяца два, не больше, - до Октябрьских праздников. Ожиревший, сонный, он недовольно потерся боком о стенку, взвизгнул в тон точилу и присмирел. На высоком насесте судорожно всхлипнули куры, ударили раз и другой крыльями.

И опять все погрузилось в томительное, изнемогающее забытье. Лишь точило, как бы жалуясь на кого-то, однообразно исторгает свои звуки, изредка озаряясь холодным светом искр, косо вылетающих из-под топора.

А вокруг, на сотни верст, покой и сон!.. Все спит: трава и подсолнухи, деревья и люди. И даже ветерок, чуть шевеля обомлевшими листьями крапивы, готов стихнуть надолго.

В одном нашем доме суматошно: свет от окон двумя зыбкими желтыми квадратами падает во двор, двери в сени открыты настежь, и видно, как мать беспокойной тенью мелькает за занавесками. И мы с отцом бодрствуем у точила. Лет шесть назад, когда я ходил еще в четвертый класс, бывало, отец будил меня спозаранку, до петухов, и я, чуть не плача, думал: "Вот стану большим, уж тогда отосплюсь! Хорошо быть взрослым: никому не подчиняться, никто тебя не будит... И зачем люди сперва бывают маленькими?" Но теперь я не спрашиваю себя об этом, я уже знаю, почему люди сначала маленькие.

Я знаю себе кручу точило и незаметно для отца пытаюсь вздремнуть.

- Готово! - обрадованно роняет отец, Я от неожиданности вздрагивая ловлю себя на

мысли, что мне все-таки удалось прикорнуть за работой. Отец удовлетворенно прилепывает ладонью по топору, пробует пальцем остротунаведенного жала и, разминая онемевшую спину, направляется к хате. Я бреду за ним, путаясь в вялой картофельной ботве, в беспорядке раскиданной по вскопанной земле.

И вот мы выходим на улицу, еще окутанную темнофиолетовой предрассветной мглой. Отец, в зимней фу"

файке, в мятой шапке с отвислыми ушами, с большим чувалом за спиной, оборачивается к матери, остановившейся у ворот, и бодро говорит:

- Ну, это... мы поехали. За кабаном присматривай.

- Да уж знаю! - отмахнулась мать. - Ты за Федоркой получше гляди. В горах холодно, как бы стгоряча не простудился. Он у нас суматошный какой-то. - Она отстранилась от ворот, в голосе ее прозвучало беспокойство. - Слышь, Федорка? Не горячись, не балуй там... среди пропастей!

- Не маленький, - сказал отец.

- С него все сбудется. Дитя еще...

- Ладно, мам, - говорю я, уязвленный ее недоверием ко мне. - Мы пошли.

Дорога начинается сразу за хутором. Здесь она послушная, тихая, в седых пыльных былках чахлого бурьяна. Едешь по ней вдоль ущелья час, два, и она почти не дает о себе знать, покорно ложится под колеса, душно пылит сзади, Но не настраивайся на спокойную езду, не будь благодушен: дорога еще покажет свой крутой нрав, и нужно быть заранее готовым к ее суровым, злым шуткам.

Мы держим правее, чтобы не взбивать пыль. Мокрая от росы трава холодит сапоги. С реки, что шумит вблизи, потягивает запахом студеной воды, который мешается со стойким ароматом лугового сена. Свежо и остро пахнет землей. Как-то сама собой спадает с меня сонная одурь, и я уже иду широким, размашистым шагом, незаметно оставляя позади себя отца. Он спешит вдогонку за мной: слышно, как звякает котелок, привязанный у него к поясу.

Скоро мы круто сворачиваем влево, на неясный силуэт полевого стана. Медленно надвигаются на нас длинные и низкие амбары, от которых несет молодой, недавно засыпанной пшеницей, потоп тянется высокая ограда база. За ней, дыша пережеванной травой и сеном, сонно топчутся, мычат быки. Два из них спят и, наверное, не догадываются, что сейчас их выгонят из база, такого теплого и уютного, и долго заставят топтать по старой дороге в горы, над которыми мигают загадочные звезды...

Впереди малиново зарделось окно сторожки, и мы пошли на ее немигающий, ровный свет. Взлаяли собаки, чья-то рука отодвинула краешек матерчатой красной занавески. Отец, убыстря шаг, предупредительно отозвался:

- Свои! Свои!..

Хлопнула дверь, на пороге, простудно-сипло кашляя, показался сторож по прозвищу Косорукий, напарник Леонтия. Он, видно, угадал отца, потому что не стал дожидаться и выпытывать, кто идет, повернулся к нам спиной, успокаивая рычащего пса, который сидел в сенях на задних лапах, настороженно и злобно сверкая из тьмы глазищами.

- А я уж думал кобеля пущать, - провожая нас в тепло сторожки, сказал Косорукий. - Он у меня за главного среди собачья, в серьезные моменты работает... Ну, подь! - доверительно прикрикнул он на пса, вошедшего вслед за нами в жилье. - Знай свое место. Тут я пока главный. - Косорукий улыбнулся двумя черными точками глаз из-под насупленных, мрачноватых бровей, отворил дверцу плитки и стал кидать в топку березовые поленья. Белая кора жарко схватывалась синеватым огнем, шипела и коробилась. Косорукий ловко управлялся левой рукой, а правая у него, будто плеть, недвижно висела вдоль туловища.

В углу на жестком топчане спал, укрывшись по плечи худым кожушком, скотник дядя Ермолай, мой крестный отец. Одно время после войны он торговал в магазине и, бывало, по вечерам являлся к нам с бесценной горбушкой черного хлеба. Хитро и гордо подмигивал, клал ее на стол с шутливыми словами: "У зайца по дороге отнял!" Сколько было радости при

виде этой горбушки! Невыразимо вкусный, дразнящий запах распространился от нее, заполняя всю комнату. Но надо было иметь терпение и дожидаться ужина, чтобы получить свою долю... Дядя Ермолай человек по природе тихий, добрый... Последнее людям отдаст.

- Рановато схватились, - сказал Косорукий. - Глянь, как густо стемнело кругом. - Он кивнул на окно. - Тьма, хоть глаза выколи.

- К рассвету, значит... А на зорьке ехать веселее, путь вроде короче.

- Так-то оно так, - замотал нечесаной головой Косорукий. В непонятной задумчивости он устоял в огонь, по-гусиному вытянув шею с мелкою сеткой морщин, потом спросил не оборачиваясь: - А на поминки не пойдешь?.. Я уж и Леонтия предупредил.

- Как же не пойти, - быстро ответил отец с оттенком беспокойства. - Покойница мне не чужая. Родная тетка!

Да и славная была женщина. Пойду, непременно пойду. Не я буду.

- Ну давай, - вздохнул Косорукий. - Дуй по холодку... Да помни: дорога-то гремучая. Вдруг не обернешься к поминкам.

- Успею. Кровь из носу, за два дня обернусь... Буди кума, - сказал отец. - Быков надо взять.

- Нехай храпит, - Косорукий поднялся, передернул для бодрости сухими, костистыми плечами, накинул на них длинный прорезиненный плащ и пнул ногою дверь. - Умаялся за день твой кум, Сами управимся... Он тебе быков отобрал - первейших в бригаде!

Косорукий сноровисто переметнулся через ограду внутрь база, отпер ворота и, наказав отцу поглядывать за скотиной, исчез. Мы стояли, чутко вслушиваясь в мягкий шум удаляющихся шагов сторожа.

- Вставай, милок, вставай! - донеслось из глубины база. Немного погодя он уже вел за собой, шаркая сапогами, быков на длинном налыгаче. Вдвоем с Косоруким отец выбрал и бричку, с новыми, ладно ошипованными колесами, с крепким, но легким ярмом с железными занозками.

Мы впрягли быков, уложили вещи, подкинули на бричку сена, чтоб отцу мягче было сидеть, и приготовились трогаться в путь. Косорукий недоумевал:

- И чего торопишься? Справили бы поминки, тогда и езжай... Не ровен час, обломаешься, не поспеешь к сроку.

- Крым-Гирей, - тихо сказал отец. - Его двое суток не будет в хуторе, понял? А мы тем временем и проросим тайком.

- И верно. Умотался он к брату на свадьбу... Э, Максим! Ты воробей стреляный, тебя на мякине не проведешь. Самого Крым-Гирея вздумал обхитрить. Герой!

- А что он за важная птица, - гордо приосанился на бричке отец. - Видали мы и не таких.

И мы поехали.

Дорога глушит размеренные и тяжелые шаги быков, выбрызгивают из-под ног фонтанчики пыли. Монотонно поскрипывает ярмо, с одинаковой медлительностью, будто заведенный часовой механизм, крутятся колеса, темнея мелькающими спицами.

Отец, ссутулившись, терпеливо сидит на передке, изредка нахлестывает быков кнутом, молчит. Фуфайка коробом горбится у него на спине. О чем он думает?

Или просто сидит, невидяще смотрит во тьму, прислушиваясь к какому-то зарождающемуся чувству в самом себе? Кто хоть однажды ездил на волах ранней ранью, когда все вокруг неясно, расплывчато, в каком-то мягком, неуловимом тумане, и кажется, что ты не едешь, а стоишь на одном, кем-то заколдованном месте или медленно-медленно плывешь куда-то, - кто чувствовал все это, тот знает, что такое длинная дорога. И нет ей конца краю.

Среди поредевших кустов кольчужно блеснула река; исходящий от нее белый свет удивил меня своей ясностью, заставил оглянуться вокруг. И я почувствовал приближение дня. Кромка неба светлела, постепенно покрывалась бледно-розовым налетом на востоке - там, где ожидался восход солнца. Я поднял голову: небо раздвигалось, раздавалось вширь и в глубину, проясняя свои бездонные мореные озера и гася одну за другою звезды на них. Тьма таяла, очищались от нее придорожные кусты орешника, встряхиваясь от дремы.

Уже завиднелись леса, плотно набежавшие на склоны, в туманном дыму...

Чем дальше уходила дорога, тем леса ближе и плотнее подступали к ней, потянуло из густых чащоб прелью, лежалыми дикими грушами, чистой пахучей хвоей.

Над дальней вершиной внезапно луч заиграл, и словно в ответ на его игру с орешника сыпанули дружным чириканьем вездесущие воробьи, серенькими комочками закачались на ветках, а потом разом снялись и шумной стаей понеслись над дорогой, мельтеша крыльями в посветлевшем воздухе.

- Цоб-цабэ! - с неожиданной силой произнес отец, оглянулся на меня и взмахнул над головой свистящим кнутом. - Пошли, родимые!

Радостное, ни с чем не сравнимое чувство дороги!

Мне было хорошо, что мы с отцом едем в леса и видим, как проясняется небо над горами и с какой величавой медлительностью тянутся по небу вразброд облака, розово подсвеченные отблесками запылавшей зари. А леса торжественно, празднично приближаются к нам, и я уже различаю пестроту их щедрого осеннего наряда: то красновато-бурого, то прозрачно-желтого, то вызывающе зеленого, с пронзительным синим блеском.

Мы едем молча еще с час или два, околдованные утром. Отец вытаскивает из кармана туго набитый табаком кiset, с удовольствием расшнуровывает его, принюхивается к острому запаху, сворачивает козью ножку. Закурил... Клубками валит на меня едкий дым. Я кашляю, соскакиваю с брочки и, разминая онемевшие ноги, иду рядом.

- Пошагай, пошагай, - одобрительно кивает отец. - Оно молодому полезно. Большим вырастешь... А утро-то какое ясное! - вслух удивляется он. - Небушко как слеза... На земле, Федорка, надо с умом жить. Рано встанешь - заметишь, как солнышко взойдется, услышишь птичку. На заре она поет, щелкает славно! А с тобой беда: длинно спать любишь. Так и проживешь, ничего путного не увидишь, - Увижу, - с усмешкой возражаю я. - Закончу десятилетку и махну на Север!.. К белым медведям! На самолете полечу.

- Что твой самолет? Вжик - и ты аж на другом конце опустился. Встаешь, голова кружится, мутит всего...

Где ты, в какой такой земле? Что на ней растет? Нет, брат, ничего ты не увидел. По земле на быках надо ездить, все разглядишь, А еще лучше - ходить по ней пешком. Вот тогда ты жилец на этом свете.

Посчитай, сколько Федориха прожила! Поди, лет под девяносто.

Федориха доводилась отцу родной теткой. Муж у нее погиб еще в первую империалистическую, с той поры она была одна-одинешенька, удивляя людей своими чудачествами. Бывало, с вечера наострит топорик и спать ложится с ним, чтоб и во сне помнить о деле, А оно у нее было простое: затемно схватиться с постели и бегом в лес за дровами. За день обернется раз пять или шесть, глядишь, на полвоза дров прибавилось во дворе. Скоро из-за них места не стало, так она и в огород носила, складывала там высокие черные штабеля, подолгу любовалась ими из-под ладони.

Потешной была эта Федориха... Иногда отец, завидев, как она бежит по улице с подоткнутым подолом и с неизменным топориком в руках, выскочит навстречу ей да и скажет от чистого сердца, без лукавства: "Хватит вам дров, тетя... Для кого стараетесь? Век будете топить - не потопите". А она взглянет с усмешкой на крестника, вскинет топорик за плечо и отмахнется: "Вам-то, мужикам, легко рассуждать, надсмехаться над вдовой... А мне без дров одни слезки, зима-то до-олгая!" И бежит мимо без оглядки, споро мельтеша босыми ногами по пыли...

Эх, непоседа! Раньше отец пытался предлагать ей свои услуги, но она наотрез отказывалась: "Сама не лыком шитая. Выдюжу".

Исходила Федориха босиком все окрестные леса. На каждом бугорке успела она посидеть, подумать о своей вдовьей доле... Резвясь с мальчишками в дальних лугах, я часто видел Федориху, худую, простоволосую, с тонкими загорелыми ногами. Она брела обычно вниз берегом реки, осторожно ступая по камням и слегка покачиваясь под тяжелой ношей. Казалось, вечно ходить ей вот так по земле, при любой погоде - в дождь, в ведро ли, в

туман...

И вдруг она умерла, погасла, как задутая кем-то свеча, - тихо, без содроганий, без лишних слов, не принеся никому особых хлопот. Незадолго до кончины Федориха велела отдать дрова своему крестному сыну, так как никого из близких родственников у нее не нашлось, затем сама сложила на животе сухие, бледные руки и спокойно, с ясной улыбкой на лице, с сознанием исполненного долга отошла в мир иной. Старухи завидовали ее легкой смерти.

Отец постеснялся взять вдовьи дрова. После похорон в одну ночь их растащили по подворьям хутора. А положили Федориху, в белом подвенечном платье, в дубовый гроб, сделанный по ее заказу еще года три назад. Этот гроб она хранила на потолке...

- А все почему долго она жила? - продолжал отец, задумчиво пуская клубы сизоватобурого дыма. - Мало спала, много по земле да по воде ходила. Земля, она молодит человека. Да... И жить бы тетке еще много, кабы не тот гроб. Дело-то ясное. Начнешь думать о смерти, она тут как тут, с острой косою подступит: "А ну ложись, пришла сечь голову!" Нет, живому надо думать о живом, так-то оно вернее... Цоб!

Косо отлегла на сторону от дороги еле приметная в росной траве стежка, потекла вверх по склону в образовавшийся просвет между деревьями. Если встать с брочки и пойти по этой стежке, ни на шаг не уклоняясь от нее, она приведет на Иванов выгрев, в широкое, привольное буйство разнотравья. Летом звенят там косы вперемежку с бабьим смехом, с частым перестуком молотков, и в знойный полдень наплывает в низину запах разомлевших ягод, чабреца и морковника, темно-красной кровохлебки с фиолетово-белой душицей и еще неведомо каких трав и цветов. Стойкий запах дурманно кружит голову, пьянит. Но сейчас на выгреве непривычная стоит тишина: откипели покосы там...

Отец, глядя на тропку, потаенно вздыхает:

- Стожки бы проверить. Вдруг ветром верха заломило, тогда беда: затекут и взопреют. Ну ладно, в другой раз сбегая посмотрю.

Там, на крутом взлобке, на нашей постоянной деляне высятся два островерхих стожка, для верности подпоясанные свитыми из травы веревками и снизу плотно подбитые граблями. Еще дед наш Иван, сгинувший в гражданскую, покашивал в этих местах, оттого и выгрев именуется Ивановым, в честь первого в ту пору косаря.

Что было, то сплыло, былшем поросло... А теперь вот косим мы на деляне, политой соленым потом предков. Какие, сказывают, были крепкие люди, какие богатыри.

А и нет уже никого из них.

Отец провожает стежку задумчивым взглядом, и я замечаю: теплится в его зрачках грусть. Какое-то давнее воспоминание тревожит его. Были, были и у отца минуты, навсегда оставшиеся в сердце! Не о том ли покосе вспомнил он, когда я невинно, но жестоко предал его?

Это случилось в середине июля, во второе послевоенное лето. Отец взял меня с собою на покос, усадил в брочку рядом с тетками, повязанными в белые косынки, а сам побежал на подводу к мужчинам. В слинялой гимнастерке со следами от медалей, с пышно взбитым вверх чубом, гладко выбритый, отец казался мне самым красивым и сильным, самым добрым среди мужчин. Он нагнал подводу, гикнул на пристяжного рысака, схватился за грядку и с маху закинул упругое тело на солому, успев обернуться назад и белозубо усмехнуться теткам...

- Н-но, вороные! - привстал он на коленях, оглашая дол смятенно-радостным криком. Кони взметнули гривы, понесли, сверкая на солнце новыми подковками.

- Папань, возьми-и! - заполошно заныл я и протянул вслед убегающей подводе руки. - И я с тобой!

Тетки дружно засмеялись, заластились ко мне, кинулись наперебой уговаривать:

- Никуда он не денется, твой батька, не плачь..

- Нехай себе улетает, ты с нами будешь. Глянь-ка, сколько невест. Эй, Полюха, приголубь, успокой кавалера!

- Пустите! - не унимался я, остервенело отбиваясь от теток. - Я к папаньке пойду.

- Бабоньки, да он гордый, не то что Максим... С нами и знаться не желает. Ему небось невесту чистых кровей подавай.

- Ах-ха-ха-ха!

- Поля, нечистая сила! Да приголубь, утешь мальчика-то! Мужиков умирять, а его не можешь?! Застеснялась уж...

- Ах-ха-ха-ха!

От суматошных вскриков, визга и смеха наши кони поджали уши и устремились вслед за грохочущей подводой. Пыль застлала глаза, заныл ветер. Я заревел еще громче, с подвыванием. Кони - вскачь.

- Рятуй, Полюха! - то ли шутя, то ли уже всерьез всхлипнула толстая тетка, натягивая на себя вожжи.

А кони не слушались ее, мчались во весь опор, обрушивая на нас дробный грохот копыт.

С задка, поддерживаемая простертыми руками внезапно онемевших теток, пробралась ко мне Поля, присела на корточки, молча дотронулась до моих губ мягкой и теплой ладонью. Ее прикосновение как-то вмиг отрезвило, успокоило меня. Мне даже стало стыдно, и я затих.

Ее карие, большие и глубокие глаза, затемненные тенью длинных ресниц, с нежной кротостью смотрели на меня, рождая какую-то тихую и виноватую улыбку. И Поля улыбнулась. Вздрогнули уголки ее припухлых розовых губ, светло обозначились на щеках ямочки, тенькнули мониста на кипенно-белой шее. Она провела ладонью по моей щеке, затем сняла с себя платок, вытерла у меня слезы и сказала:

- Чего голосишь, соколик? Все тут свои, не бойсь...

От вдумчивого выражения глаз, певучего грудного голоса Поля, запаха ее надушенного лица и волос, красиво собранных в каштановый узел на затылке, веяло чем-то домашним, родным, почти материнским. Безотчетно волнуясь, радуясь Поле, я улыбнулся ей.

- Вот и умница, вот и ладно, - пела, улыбалась она, усаживаясь на грядке.

Между тем толстая тетка успела осадить коней, они сбавили шаг и перешли на мелкую рысь. Теперь все с любопытством и вниманием поглядывали на нас с Полей и тоже чему-то улыбались. Поля порылась в сумке, вынула оттуда прозрачное, как воск, яблоко с темными зернышками внутри и протянула мне:

- Ешь... Скоро в первый класс пойдешь?

- Ага, - умиrotворенно мотнул я головой. - Папанька говорит, в этом году, - Умница, и все ты знаешь, - сказала Поля. - Такой славный мальчик!

- И ласково потрепала мои волосы, запустив в них свои нежные пальцы. - Ты ешь, ешь, соколик.

Так мы и подружились с Полей. Она кухарничала на выгреве. У каждого своя деляна, но было решено, что стряпуху надо одну иметь, чтобы не отрываться от дела.

А смахнуть ее траву гужом, в тридцать кос, долго ли умеючи!

У Поля весной была свадьба, с быстрыми тройками, с колокольцами, с яркими бумажными цветами. Я бегал смотреть на Полю. Красивой она была, нарядной. А рядом с нею, обняв ее за талию и раскосо усмехаясь, сидел жених, колхозный объездчик Крым-Гирей, прозванный так за то, что видом своим и осанкой походил на татарина.

Мне было обидно, что Поля выбрала себе Крым-Бирея, смуглого и нелюдимого, с устрашающим блеском в темных глазах. Он всегда как оглашенный носился на своем гнедом жеребце, стрелял плеткой и отнимал у ребятшек гнилую картошку, которую они весной собирали по свежей пахоте - на крахмал. Из крахмала вместо хлеба пекли лепешки, примешивая в них крапиву с лебедой. А Крым-Гирей гонялся за всеми, вопил:

- Я вам поворую! В милицию сволоку!

Страшновато было слышать посвист его плетки. И вот Поля, такая красивая, нежная, вышла за Крым-Гирея.

Он же ее замучит, прибьет, думал я. Но Крым-Гирей, на удивление мне, улыбался Поле, и она отвечала ему улыбкой. Странные эти женщины! Им что ни хуже, то лучше. Вот и Поля... Не могла подождать, пока я вырасту, и стать моей невестой. Я бы платки ей дарил цветастые,

водил бы в клуб, чтобы она танцевала там с парубками...

В то лето, когда Поля кухарничала, Крым-Гирей не было на покосе: кто-то встретил его ночью в лесу, стащил с коня и сыграл с ним темную. Говорят, люди слышали, как в чаще эхом метались глухие крики: "Раскосый! Правду плетью не перешибешь. Получай!" - "Пусти, не буду я! - вопил, затухая, голос объездчика. - Христом-богом прося-у-у..." А потом все смолкло. Пока люди с вилами, с топорами подоспели со стана на крики, обидчика и след простыл. Крым-Гирей ерзал на животе в грязи, судорожно всхлипывал: "За што? Я ж о добре... о колхозе пекусь. Я ж не самовольничаю, караулю по инструкции. Сволочь!

Ну погодь, все одно узнаю кто!

Я те изменю голос! Сгною!"

Обидчика так и не опознали. Крым-Гирей хворал дома, грешил на Косорукого, а Поля стряпала на покосе.

Я привязался к Поле, ходил за нею по пятам, таскал для костра сухой валежник. Мне нравилось смотреть на подрагивающие на ее шее мониста и кофточку в мелкий голубой горошек, на то, как она быстро чистила картошку и бросала ее в котел, схваченный снаружи черным налетом копоти... Легкая и гибкая, решительная в движениях, она проворно бегала от котла к столу, белозубо улыбалась людям, солнцу и травам и все прижималась пахнущими земляничкой губами к моим щекам, все нахваливала меня:

- Умница, помощничек мой славный!

Я млел от счастья, от невысказанной любви к Поле.

Мне не хотелось идти к отцу, который косил неподалеку от нас. Сквозь редкие кусты виднелась его бронзовая от загара спина, локти мелькали в мощном широком размахе.

На третий день покоса, ввечеру, Поля кинулась в балаган, за картошкой, и обмерла: забредшие по недосмотру быки разворошили его, поели и перетолкли картошку. Поля - в слезы, в крик. Сбежались люди, посмотрели на безобразия, удрученно повздыхали, стали успокаивать Полю:

- Ладно, чего не бывает... Отдохни нонче, Полюха.

И разошлись, разбрелись по делянам. У пустого котла задержался отец - утешить, ободрить Полю. Солнышко красное закатилось за гору, смутные тени рябью пробегали по траве, все гуще залегая по окраинам леса.

- А не горюй, Полюха, - сказал отец. - Аида в балку, малины пощиплем.

- Ой, Максим! - обрадовалась она, зардевшись. - Стыдно на людях... И Федорку на кого оставим?

- Я с вами! - закричал я с предчувствием чего-то необыкновенного, праздничного. - Я тоже хочу малины!

Они переглянулись и рассмеялись. Отец бросил окурочек, каблуком вдавил его в землю и взял меня за руку:

- Пойдем!

- Тетя! - жалостливо оглянулся я на Полю, ополаскивающую в ведре ноги.

- А вы остаетесь?

- Ступайте. Я догоню вас.

Мы спустились с отцом вниз по выгреву, к глубокой балке. Оттуда вместе с ветерком пахнуло в лицо приторно-сладким, душным запахом малины.

Накапливались в балке, растекались по кустам фиолетово-дымные сумерки. Словно в вату, погружались в них лесные шорохи.

Мы сидели под грушей, поджидая Полю. Хотя мы оба ждали ее с нетерпением, но почему-то не заметили ее прихода. А она бесшумно кинулась сзади на отца, закрыла ему ладонями лицо и, не выдержав, захохотала звонким русалочьим хохотом. Отец встал, молча схватил ее на руки и закружил вокруг себя. Полюино платье бело трепетало на ветру, облепляя ее красиво поджатые ноги.

- Ой, Максим! - в изнеможении шептала она. - Чумной... Пусти!

- И меня покружи, папань! - в восторге закричал я, бегая вокруг них.

Отец покружил и меня.

И опять, уже втроем, мы сидели под грушей, смотрели, как поднимается луна, медленно истекая над землей белым светом. Отец держал в своих руках Полину ладонь.

- А он все болеет?

- Не надо о нем, - зашептала Поля. - Надоел он хуже горькой редьки...

Сверху, как яичко, гладенький, а в середине - болтыш. Уйду я.

Молчание. Но скоро отец опять спрашивает:

- Интересно, кто его так отметелил? Не Косорукий?

- Может, и Косорукий... Он же сестру его обидел.

За кочан кукурузы! Не сердце у него - камень. А я-то, дуреха, куда раньше глядела! Где мои глаза были, не знаю... - Поля вдруг припала щекою к плечу отца, горячо, со слезами произнесла: - Муж! Хворает, жалуется, а мне его ничуть не жалко! Ну нисколечко! Даже страшно подумать.

- А малину собирать? - спросил я.

- Ой, и правда! - вскинулась Поля.

- Сынок, посиди тут, - сказал отец, - а мы с тетей пойдем. А то в кустах обдерешься. Темно.

Меня не устраивало оставаться одному у балки, пугающей настороженной тьмой, причудливыми очертаниями кустов, внезапным всплеском крыльев каких-то ночных птиц. Но Поля наклонилась надо мной, поцеловала меня в лоб горячими, влажными губами, и опять повеяло от нее чем-то родным, материнским.

- Умница! Храбрый какой... Вылитый отец! Слышь, стучат? Это косари. Они косы отбивают. Ты слухай их, сиди и слухай. Тут кругом - люди!

- А я посвистывать буду, - сказал отец.

Они ушли.

С печалью и тревогой я смотрел им вслед, пока они не растаяли в кустах, облитых призрачным лунным светом. Вдали дымились леса, а на выгреве я различал мигающие огоньки - то косари запалили на своих делянках костры. Однако я испытывал непреодолимое чувство страха, в голову лезли всякие мысли - о волках, которые при луне рыскают по балкам, о медведях, бредущих полакомиться малиной, Треснет ветка, почудится тонкий мышинный писк, а я уж думаю: зверь... Вздрогну, сожмусь в комок и сажу не дыша, ни жив ни мертв.

Из этого оцепенения меня выводит ободряющий свист отца. Он раздаётся через равные промежутки времени, удаляясь куда-то вглубь балки. С каждым разом он все глуше, слабее. А вот и совсем смолк. Сажу в ожидании свиста, вобрав голову в плечи, притаившись, страшась оглянуться назад. Проходит полчаса, может быть, час - отец не откликается. Луна за облака зашла, стемнело гуще...

- Папа-ань! Тетя-а! Где вы-и-и! - вскакивая на ноги, вне себя кричу я.

И-и-ы-ы!.. - эхо отдается со всех сторон, волнами перекачивается по туманным балкам, гудит в нелюдимых верхушках деревьев, возвращая ко мне мой голос, странно изменившийся. Как будто много людей пробудились от тяжкого сна и, подражая мне, глухо и недовольно кричат из тьмы. Мне становится жутко, я весь дрожу и, напрягая голос, изо всех сил тяну:

- Па-апа-а-ань! Те-етя-а-а!

Я кричу и кричу, пока не добиваюсь ответного свиста.

Великая радость охватывает меня, в груди гулко колотится сердце: они живы, на них не напал медведь!.. Они щиплют для меня малину. Я смахиваю рукавом слезы со щек, смело сажусь на землю. Свист повторяется, и все во мне ликует. Идут! Они уже набрали малины. Из балки вскоре долетает сердитый голос отца:

- Чего кричишь? Тут мы!.. Эх, всю обедню испортил.

Всем раскололо про нас.

- А, ладно! - тихо посмеивается Поля. - Шила в мешке не утаишь. Пошел по малину - не

бойсь руки наколоть.

Раздвигаются кусты, отец с Полей выходят на чистое, отряхиваются от приставших к одежде листьев. Поля одной рукой поправляет растрепавшиеся волосы, другой - протягивает мне пучок веточек с рясыными крупными ягодами:

- Ешь, соколик...

Луна краешком выглядывает из-за темного облака, в ее свете глаза Поли искрятся смятенно-тихим счастьем.

Она ведет меня за руку, задумчиво покусывая травинку, - кроткая, присмирившая,.. Отец попыхивает сзади нас самокруткой и знай себе молча бухает сапогами по заголодавшей земле.

На другой день тетки только и говорили про нашу прогулку за малиной. Шушукались между собой, похихикивали в платки, пряча глаза от Поли, которая похаживала мимо них гордой, независимой походкой, и все допытывались у меня:

- Много малинки-то набрали?

- Не-е! - чистосердечно отвечал я. - Мы вот еще пойдем, больше собираем...

Сороки на хвосте донесли весть и до Крым-Гирея:

Поля с Максимом за малиной ходили. Но мать моя сплетням не верила.

"Подумаешь, за малиной! - говорила она. - Максим у меня серьезный".

- Цоб-цабэ! - погоняет быков отец, бодро помахивая кнутом... Скоро караулка, пошли, пошагали!

Позади остается пологая горушка, дорога круто заворачивает к деревянному мостку с разбитым, измочаленным настилом, с покосившимися перилами. Мосток дрожит, пьяно пошатывается под нами. Кажется, вот-вот он не выдержит и рухнет в белые буруны горной речки, стиснутой с обеих сторон крепкими ладонями берегов.

Однако ничего страшного не происходит. Мы благополучно перебираемся на тот берег. Вот и кончилась наша тихая, безмятежная езда! Теперь надо быть настороже, держать ухо востро. Отсюда начинается подъем к Синим скалам.

Дорога, петляя серпантинном, уходит все выше и выше, в глубину молчаливых гор. Ползет она по рыжим осыпям, теряется надолго в лиственном лесу, взявшемся осенним пожаром, вновь появляется, но уже на голых припечках.

Издали накатывается в низину нелюдимый торжественный гул сосен. Они растут у Синих скал, стройные, с желтыми литыми стволами, устремленными вверх, как гигантские свечи.

После войны, возвратившись домой, отец подался с бригадой лесорубов к Синим скалам и пробыл там до глубокой осени на заготовке леса. Старые сосны на доступных местах сплошь повывубили, молодые еще не вошли в силу.

Лет уже десять никто не навевается в эти глухие места, кроме чабанов.

Летом, в пору обильных луговых трав, они нет-нет да и появятся тут с медленными отарами овец. Сладят себе временное жилье - низкие балаганы, крытые сверху зеленым дерном, повесят черные пузатые котлы у входа, разведут дымные костры, не затухающие и в ливни, примутся по ночам палить из двустволоков в темное небо, чтобы волк близко не подступал к тырмам. По мере наступления холодов отары спускаются все ниже и ниже, пока и вовсе не снимутся с последней горной стоянки и не уйдут с сытым бляением и хриплым собачьим лаем в низину, к зимним фермам.

Вслед за ними с насупленных, хмурых вершин наплывут на леса и луга туманы. Залягут они надолго в ущельях и пропастях, плотно окутают все окрест, дыша стужей.

Поникнут к земле, повянут травы, облетят с веток последние листья. Неприютно, пустынно станет в горах.

А однажды утром свежо, девственно забелеют вершины, и люди в низовьях ахнут: снег, зима надвигается!

В прошлом году на летних каникулах мы с отцом чабановали у Синих скал и, случалось, любовались соснами, взметнувшими в простор неба свои могучие кроны.

Я обычно глядел на зеленые деревья с цепкими разветвлениями корней, которым еще

десятки лет пробиваться в живую глубь земли, к чистым ключам.

Отец подолгу задерживал свой задумчивый взгляд на давно умерших соснах, на сухостое...

- Красавицы! - говорил он об усохших соснах с чувством удивления и жалости, будто о вдовах. - Сохнут, пропадают... А звонкие!

Я ценил тогда красоту, здоровье и мощь сосен и не задумывался о пользе, которую они могли принести нам.

Отец же, отдавая должное красоте, не забывал и о том, что деревья должны служить людям и после своей смерти обратиться балками или полом в доме либо, на худой конец, табуретками. Давняя мечта отца употребить в пользу гибнущие сосны вроде сбывается: мы едем за сухостоем.

Отец по-крестьянски хитер, предусмотрителен. Просто, без всяких документов спилить и увезти сухостойные сосны он не отважился - из боязни прослыть в хуторе вором, расхитителем лесных богатств колхоза. Пойдут сплетни, на каждом собрании будут колоть глаза сухостоем. А Крым-Гирею это на руку. Ему лишь повод дай, а там он клещом вопьется, с живого не слезет.

Как раз из района приказ поступил; сосновый строевой лес зорко оберегать, для личных нужд пока не выписывать. Билеты давали на осину. А из осины какие полы в новом доме, какие наличники! Осина дерево ломкое, ненадежное. Для отвода глаз отец выписал "осиновый билет", но про себя решил: поедет за сосной. Греха тут нет: сухостой ведь пропадает. Люди поймут... Отец и момент улучил, чтоб обвести Крым-Гирея, пока тот будет гулять, пировать на свадьбе...

После того покоса никак не успокоится Крым-Гирей.

Невдомек ему, отчего Поля ходила за малиной с моим отцом, отчего после познакомилась с тихим и застенчивым учителем физкультуры Петром Ивановичем Столбиковым, с радостью вышла за него замуж и уехала с глаз долой в соседнюю станицу.

Иногда по пьяной лавочке Крым-Гирей, тяжело бухая по столу волосатым кулаком, откровенничал в караулке с дружками лесничими.

- Кто есть я? Обьездчик, вот кто! По старой поре, можно сказать, управляющий. Пнял?.. Ну, ну! Не шей политику, это я для красного словца вернул. А так я сознательный, за общество живот положу. Дубасили меня в лесу? Дубасили. А я што? Да ништо! На своем стоял и стоять буду. Спуску не дам, пнял? У меня все в этом кулаку!.. Што? Лес, балакаешь, пропиваю? А чего, и пью! - Крым-Гирей выпячивал грудь, важно надувался, как индюк. - Я каждую темную ночьку башкой рискую, пнял? Их много, грабителей, а я один. Мне можно пить.

Я заслужил!.. Значит, кто я? Хозяин! А Максим хто!

Пшик, вот он хто! На кого сменяла меня Польшка на сенокосе, эх! - Крым-Гирей морщился, скрипел зубами. - Чего ей надо было? Денег? Пожалуйста. Цветастых платков? Какие хошь одевай. Жила у меня, как у пана. Подло предала, изменила... Вот она - бабья благодарность!.. С учителем сбежала. А он, как и Максим, дрянь человечешко, Петро Иваныч!

Не забыл о покосе Крым-Гирей, хоть и давно сошелся и живет с другой женщиной, ряболицей и угрюмой Марфой Безродной. От нее у Крым-Гирея двое детей. И у Поли, говорят, есть дети от Петра Ивановича. С чего бы, кажется, вспоминать, тормозить прошлое. Да все нейметса Крым-Гирею. Знать, крепко любил он Полю. Тайно и в открытую враждует ом с моим отцом. На его стороне - власть обьездчика, на стороне отца - увертливость да смекалка.

За мостком, в окружении старых верб с глубоко потрескавшейся сероатой корой, проглянуло потемное длинное здание под дранью, похожее на барак.

Это государственная караулка. На хитром месте воздвигли пост: ни пройти, ни проехать его, Все дороги и стежки с гор сбегаются в тугой узловатый пучок: мосток на много верст вверх и вниз по реке один.

Волей-неволей приходится кланяться неусыпному посту, вежливо здороваться с лесничими. Неподалеку от караулки через всю дорогу - полосатый шлагбаум.

По ночам для верности его закрывают - на случай, если сторожа в веселой пирушке заколоброят или, часом, их сморит томительный поздний сон...

Дорога тут вымощена булыжником, чтоб слышен был грохот проезжающих бричек. И еще два кудлатых волкодава, ростом с годовалых телят, молча сидят у порога караулки, принохиваясь к долетающим запахам, зорко приглядываясь к движению на дороге.

Издали их можно принять за бронзовых львов, что некогда украшали парадные подъезды дворянских особняков.

Отец, проезжая мимо караулки, всегда бестолково суетился на бречке, строжел лицом, всем своим видом выказывая уважение к лесной службе. Он развязывал мешок, доставал из него пару сваренных картошек и кидал волкодавам. Те остервенело, разинув клыкастые пасти, бросались на нее и вмиг проглатывали, злобно рыча, - Ай да кобели! - с подобострастно улыбкой восклицал отец. - Хоть в город на собачью выставку вези.

Не иначе, золотые медальки на шею себе схлопочут. Порода! - И ждал, какое впечатление произведет его похвала на сурового волосатого лесника в форменной фуражке, хозяина волкодавов.

Лесничий Кузьмич хранил озабоченно-строгое выражение на лице, внушительно ронял:

- Псы как псы... Возьмут в оборот - не отвертишься.

И сейчас отец по привычке кинул волкодавам картошки и подошел к лесничему, наказав мне проехать дальше на луг, распрячь и попасти быков, что я и поспешил исполнить. Отец с лесничим скрылись в караулке.

Время переваливало за полдень. Мне уже порядком надоело сидеть одному, а он все не показывался. Я стал нервничать, досадовать на отца. Наконец он появился, но почему-то не со стороны караулки, откуда я поджидал его, а со стороны горы, куда нам предстояло путь держать.

Отец был пьян. Нелепо размахивая руками, он спускался вниз по осыпи.

- Чего ты не едешь? - вопрошал он. - Я думал, ты уехал, а ты стоишь... Из-за тебя я опоздаю на поминки.

Взял помощника на свою шею! За ним самим нужно доглядать. А мне на поминки край надо. Тетку Федориху вспомнать, крестную мать. Покойница была добрая, заводная.

Я быстро впряг быков и поехал навстречу отцу. Меня брало беспокойство, что он не удержится на ногах, покатится по откосу горы. Но он, к счастью, остановился, присел на камень и опять спросил:

- Ты думаешь, больно грамотный? Больше отца знаешь? В десятый класс перешел, ну и что? А я Берлин брал! Вот и кумекай, чья грамота важнее, вот и надсмехайся над отцом сколько влезет. Надсмехайся... А я говорю: на поминки спешу. Помнать хорошего человека - это тебе не книжку прочитать.

Тут, брат, сердце надо иметь, понятно?

У меня твердая привычка: не вступать в разговор с пьяным отцом. Он у нас, когда хватит лишнего, порой буйно горячится и не терпит возражений.

Лучше смолчать, а то сейчас и в беду попасть не мудрено. Кругом горы, дорога идет по откосу, заваливая набок бречку.

Глыбы коричневатой-белой породы, редкие кустарники...

С угрожающим шорохом срываются вниз голыши. Быки переступают медленно, выверяя каждый шаг. Мне впору смотреть за дорогой, возражать некогда.

- Сердце, оно зачем дается? - подступает ко мне с новым вопросом отец.

- По-ученому - чтоб кровь гнать.

Ладно. А по мне, перво-наперво оно для того, чтоб человек зверем не был. Чтоб других любил и понимал. Вот, Федорка! Эта наука посложнее твоей геометрии, а ты ерепенишься перед отцом... Я говорю: спешить надо!

А ты думаешь, зачем, на кой ляд, мол, отцу сдалась Федориха, так? Все одно, мол, мертвая, ни о чем не узнает.

Вроде ни холодно тетке, ни тепло, как я об ней теперь думаю. Так-то оно так, но и врешь,

Федорка! Ты забыл про меня. Мне и холодно и тепло... Погоняй!

Мы въезжаем в густой лес. Разросшиеся кроны смыкаются вверху над дорогой, засты свет. Здесь сыро и темно, как на дне оврага. Корневища деревьев клубком черных змей наползают на дорогу, туго перехватывают ее.

Колеса скользят, бричку то и дело кидает из стороны в сторону. Отец, пошатываясь в задке, клонит голову на грудь, тянет и тянет свои бесконечные пьяные поучения: - А ты не косись на отца, не косись! Ну выпил! Значит, надо было. Отец, он без дела не пьет... понял?

С Кузьмичом... с караульщиком тпгнули и не лысые.

Нонче жизнь какая: не подмажешь, не поедешь... Бутыль ему на стол бух, а он и рад-радехонек. Дурак, уши холодные! А у меня закон: пей, да дело разумей. Я пью, да знай свою линию гну: пропусти, мил человек, скрозь караулку с брусьями. И уважит, бьюсь об заклад!.. Кузьмич с Крым-Гиреем не ладит, назло ему пропустит...

А этот Крым-Гирей ну и прохвост! Аферист, каких свет не видывал. Помнишь, наша первотелка на молодом клевере обдулась? Это его работа, меня не подведешь. Да и люди видели: он ее нарощно из лесу на клевер выгнал.

Как раз дождик проматросил, а при солнышке парно стало. Она, глупая, нахвталась клеверу и свалилась.

А какая б корова была! - Отец завздохал, затряс головой. - Царство ей небесное, Рябухе. Да что мы, неживые? Другую коровку наживем, вот постелем полы - и наживем. У нас вон кабан созрел, соседи удивляются.

Бык! Не сглазить бы, прости господи. На Октябрьскую под нож кабана, мясо себе, праздник ведь! А сало на базар. Заживем - умирать не надо, разлюли малина!

...А этот Крым-Гирей трутень трутнем. Ни богу свечка, ни черту кочерга. Ты видел, как он косит? Хуже последней бабы. А заставь его печь сложить, валенки сваять? Да он скорее повесится, ей-богу! Скинь его с должности, на что он годеи? Работы он боится, ему бы только плеткой махать. Хоть с сумой по миру иди... Труха человек!

Потом отец петь принимается. Песни он любит старинные, протяжные, с ощущением глубокой тоски-печали или широкой удали. Когда-то на гулянках он был первым запевалой, брал самые высокие ноты и дотягивал их До той завидной точки, когда сладко и тревожно слушать йевца и немного боязно за него: вдруг сорвется. Сейчас отец высоко не тянет, заметно сдал у него голос, осип от курева, однако песня его чем-то волнует и трогает, вызывает в душе чувство удивления:

Ой да разродимая ты моя сторонка,
Ой да не увижу я больше тебя,
Ой да не увижу, голос не услышу,
Звук на зорьке в саду соловья.
Ой да разродимая моя мамаша,
Ой да не печалься больше обо мне -
Не все люди умирают на войне.
Ой как летела пуля свинцовая
И пронзила грудь белу мою.
Ой да грудь геройская
С коня на землю свалилась...

Лес и лес кругом - могучий, кражистый, неоглядный... Глухое эхо подхватывало песню, несло ее куда-то вдаль, многократно отражая отзывчивой, чуткой звучностью синееющих крон, Вечерело, Сумерки, борясь с последними отблесками солнца, просачивались меж стволов, постепенно надвигались, оседали на дорогу, смывая очертания предметов. И странно было слышать среди нелюдимой тишины печальную песню отца:

Как на этот шум и мятеж
Разны птицы собрались,
Растерзали мое тело белое
По чистым по полям...

Повздыхав еще о чем-то, отец угомонился, прилег на солому и заснул под жалобный и одинокий скрип колес.

Уже и совсем стемнело. Мы едем под сводом леса с кое где проглядывающими звездами - час ли, два, не понять сколько... А лесу конца и края нет, и что-то большое, неуклюжее, все мрачнее вырастая из тьмы, встает впереди, наваливается на дорогу. Скользят копыта быков по голышам, бричка подъезжает ближе, и оказывается: это выступ скалы, похожий и днем на двугорбого верблюда.

Дорога и вовсе портится, пролегают через нее ступенчатые каменные плиты. Я часто соскакиваю на землю и веду за собою на налыгаче тяжело сопящих животных, давно смирившихся со своей участью. Чем выше мы поднимаемся, тем свежее воздух, от его чистоты и свежести как ледком холодит виски.

Вдруг я содрогаюсь: слева, в двух шагах от меня, дымится пропасть. Где-то на дне ее с жутковатой глушиной урчит ручей. Я отодвигаюсь подальше от пропасти и молча, со злым упрямством шагаю вперед. Я устал, ощущение голода начинает сказываться во мне, но я иду и иду, крепко зажав в руке веревку, и лишь изредка оглядываюсь назад, чтобы узнать, не свалился ли отец.

Нет, лежит, похрапывает во сне, как невинный младенец. Во мне нарастает глухое раздражение против отца: не мог выпить по-человечески, а ты теперь мучься за двоих среди кромешной тьмы, в горах, где каждый шаг твой подстерегает опасность...

Заладил одно: Крым-Гирей, Крым-Гирей... Что, на нем белый свет клином сошелся?

Да плевать я хотел на Крым-Гирея, не стоит он того, чтобы о нем так много распространяться.

Дорога круто взбирается вверх, лес постепенно расступается, и как-то вольнее, радостнее дышится на просторе. Я в нетерпении дергаю за налыгач, ощущаю сильные удары сердца и почему-то улыбаюсь выступившим навстречу нам Синим скалам. В эту минуту для меня нет ничего ближе и дороже их. Вот они, Синие скалы, с темными силуэтами пиков и сосен, мрачные и гордые в своей дикой отрешенности!

Подвесив котелок над костром, отец варит суп. Он уже успел сбегать к роднику, ополоснуть ледяной водицей лицо и теперь сидит, сгорбившись у огня, и сосредоточенно помешивает деревянной ложкой содержимое в котелке.

Я просыпаюсь от тепла, от возни его и смотрю, как заря желто и тускло светится над горами, как в небе шевелятся, растут облака... Отцу совестно за вчерашнее, он старается не глядеть в мою сторону, подбрасывает в огонь сосновые смоляки. Они горят с треском, с густой черной копотью, распространяя вокруг костра острый и терпкий душок сосны, чем-то напоминающий запах ладана... Наконец суп готов, и мы, рассевшись на расстеленном плаще, черпаем его ложками прямо из котла, снятого на землю, торопясь и обжигая губы.

- Я ничего не болтал лишнего? - спрашивает отец.

Он стыдливо отводит глаза, передергивает плечами. - Не пойму, с чего меня развезло. Выпил-то не больше поллитры...

- Все нормально, - говорю я.

А что мне еще сказать? Сказать нечего, дело ведь обычное.

Позавтракав, мы берем пилу и топор и карабкаемся по турьим тропам к скалам. Днем они и вправду почти синие. У их подножий одна подле другой - сухостойные сосны. Вцепившись в трещины каменных плит высохшими корнями, высоко вонзают они в небо свои голые

вершины с обломленными черными ветками, с сучьями, на которых давно застыли потемневшие капли смолы, некогда прозрачные, как янтарь.

Отец подбирается к первой сосне, обхватывает ее руками, проверяя толщину, а затем обухом топора коротко бьет по стволу и прикладывается к нему ухом. Дрожь пробегает с комля до самой вершины, дерево издает тонкий звон, летит нам на плечи черная труха истлевающей коры... Лишь один робкий зеленый отросток говорит, что в этой сосне на последнем пределе еще теплится жизнь.

- Звенит! - радуется отец. - Значит, не гнилая. Ну, голубушка, настоялась ты, хватит! - говорит он сосне. - Омывали тебя дожди, снега холодили, ветры гнули-ломали. Конец, забудь про это. Теперь лежать тебе в сухом месте под сараюшком. А там, придет час, свезем тебя на пилораму да и порежем на доски. Доски-то из тебя выйдут чистые, ни сучка ни задоринки!

Отец у нас еще и чувствительный. Иногда, как блажной какой, с деревьями один на один разговаривает, со зверьем всяким, с птичками. Застанет незнакомый человек его за этим занятием, всерьез подумает: рехнулся мужик - и посочувствует ему, пожалеет всем сердцем, в раздумье покачает головой.

Отца надо знать, чтобы понять и простить ему эти завихрения. Что касается меня, то я уже на них и внимания не обращаю. Не впервой мне слушать и видеть его причуды, подумаешь, небыль какая!

В году пятьдесят втором или пятьдесят третьем, точно уже не помню, взбрело отцу в голову груши срубить в нашем саду. А сад у нас в ту пору был богатый; одних яблонь хоровод дружный, да столько же слив, да алычи кустов пять, да груш этих целая дюжина... Бывало, по весне, как взойдется сад бело-розовой кипенью, так никуда из него и уходить не хочется: до того светло, чисто, ароматно в нем! Бог мой, слезы на глаза навернутся, стоишь как очумелый.

Жить бы вот так бесконечно, и смотреть на сад, и дышать его воздухом, и всех, всех любить, озарять таким же светом и чистотой, как этот сад! По осени тоже несказанная радость: гнутся до земли ветки от наливных, прозрачных плодов, и как дохнет с сада ветерком, то будь ты и в поле за десять верст, а почувешь, угадаешь родной аромат.

Одни груши у нас не рожали: молоды еще были. За это и впали в немилость у отца. Навострил он по осени топор - и в сад. Час проходит, другой - ни стука, ни грюка. Мать гадает: в чем дело? Выходит она из дому, глядит: отец сидит на земле возле крайней груши, зажал топориче промеж колен и приговаривает:

- Поймите вы: я ж не супостат какой, не ирод. Я ж сам вас посадил, вот этими руками. И потом... от короедов вас спасал, бурьян начисто выпалывал. Так что нелегко мне губить вас. Сердце слезами вскипает. А сечь надо: налог на вас дюже большой. Вон сколько у меня недоимки, а вы не рождаете!

Скуповат отец на слезы, а вот тогда проняло его в саду. Так и не настроился он груши рубить, не поднялась на них рука. Мать позвала Тихона Бузутова. Тот пришел, выдул полкувшина самогонки, разминаясь, подвигал молодыми, сильными плечами и за один напор свалил наземь молодняк. Отец и смотреть не отважился: ушел в гости к куму Ермолаю... После недоимку отменили, и отец долго жалел, что поспешил покончить с грушами.

- Ну что, настоялась? - спрашивает у сосны отец. - Хватит, голубушка. Мне еще на поминки надо успеть.

Федориха, она тоже вроде тебя была: тонкая, сухостойная. А пришла смерть - и легла. Не встанет уже, не подыметься. И тебе ложиться пора, чего уж там! Отросток вон последний вянет, не спасет он. Все мы когда-нибудь умрем. И важно, голубушка, хорошо умереть. Вот Федориха молодец! Добрую память по себе оставила, а сама ушла. Помирать тоже надо умеючи... Ну с богом! Не прогневайся.

И мы с отцом стали пилить дерево. Поочередно выплевывая на обе стороны желтовато-белые теплые опилки, пила быстро впивалась в глубь ствола. Но скоро ее заело, и тогда отец, прикинув, куда лучше упасть сосне, взялся за топор и весело, мощно пустил его с плеча. В

последних предсмертных судорогах вздрагивало дерево, отец рубил наверняка: лезвие топора угождало непременно туда, куда он целил. Стук шел по горам, гулко отдавался в дальнем бору, и, радуясь ему, отец с каждой минутой все сильнее подчинялся горячему азарту работы: вот он бросил наземь шапку, но так, что не задержал в замахе топор, сверкнул на меня глазами:

- Федорка, гляди: шевелится она!

Сосна накренилась, качнулась в небе раз и другой, будто не хотела оставлять утвердившуюся за собой высоту, и, жалобно скрипнув на срезе, вдруг рухнула всей своей литой тяжестью ствола. Подмяла под себя низкорослый кустарник и, ахнув, замерла на камнях. Теперь осталось обрубить ветки, отпилить верхушку и столкнуть ее вниз, а потом волоком нацепях подтащить к месту погрузки. Мы работали без передышки. Азарт отца взбадривал и меня. Кончив пилить, я выхватывал у него из рук топор и тоже рубил, чувствуя играющую в плечах силу, власть над деревьями, пьянея от запаха свежей щепы и опилок. Рубил, пока не мутилось в глазах.

К обеду с рубкой управились. Подогнав бричку под горку, мы накатили на нее брусья, увязали их цепями, туго затянули деревянными укрутками.

Поднялся ветер.

Он гнал по серому, свинцовому небу лохматые космы туч, с вызовом набрасывался на сосны, раскачивал их и шумел в верхушках. Синие скалы нахмурились, потянуло от них зимней стужей. Мы запрягли быков и поехали, опасаясь быть застигнутыми дождем на вершине. Все вокруг стемнело, и создавалось впечатление, будто уже наступил вечер. Дорога бежит под гору, воз подолгу катится сам, и отцу, который ведет за собой быков, все время приходится придерживать их. Иногда перед крутым спуском он останавливается, оборачивается ко мне и кричит сквозь ветер:

- Сынок, притормози!

Не сводя глаз с отца, я иду сзади брички, немедленно отзываюсь на его крик и захватываю колесо петлею цепи. Колесо слегка проворачивается, до звона натягивает сбегающую от укрутки цепь и вдруг запинается, замирает, с визгом скользит по камням. Из-под шины поыхивает синим дымком с искрами, возок катится медленнее.

Нередко, в наиболее опасных местах, я стопорю сразу два задних колеса, и они визжат до звона в ушах, пока я не сбрасываю крючки со звеньев цепи. Бричка облегченно вздрагивает, торопливее частит по камням.

Во время пути мы по многу раз останавливаемся, давая передохнуть быкам, советуемся, как преодолеть новый спуск или подъем, и опять, напрягши волю и нервы, трогаемся дальше.

Дорога от Синих скал! Грохочет она под возом на припечках, отчаянно ползет над бездонными пропастями, наполняющимися мраком и мглой, лебедино гнется, блестя отшлифованными плитами. Сколько на ней пота мужицкого пролито, сколько колес и бричек разлетелось тут в прах. Слышала она и проклятия с горьким, горячим матом и, наверное, не раз была молчаливой свидетельницей смерти, крушения человеческих надежд - когда, нечаянно сбившись вбок, вдруг тяжело падали возы в клубящуюся мглу пропастей, вместе с быками, брусьями и людьми. В каком столетии ее провели сюда, кто первым поднялся на бричке до соснового бора? Может быть, после крестьянской воли, лет сто тому назад, как тульские, орловские да курские мужики потянулись на освоение Кавказского края, на плодородные и вольные земли, в глухие боры, пробилась она к вершинам. Тогда как грибы после дождя возникали на кубанском предгорье, по берегам мелководных, но шумливых речушек новые станицы, хутора и села. Строились кордоны, защищая казацкую республику от набегов горцев... Тем из российских переселенцев, которым посчастливилось прибыть раньше других и обратиться в казаков, указом царя были розданы просторные земельные наделы, леса и покосы.

Прадед мой Федор, лапотный мужик тульский, успел отхватить казацкое звание, разбогател, завел себе чистопородного белого скакуна, золотом отделанное седло, тяжелый

арапник с густыми махрами и жгучим нахвостником, семигранную стамбульскую винтовку, - и до скончания дней своих благодарил за милости батюшку-царя.

Другой мой прадед, Иван, из курских, в мужиках остался. Земли ему не дали, да еще обложили налогом за "посаженное место". Взимали мзду и за дороги, по которым он ездил, за воду из речки, за дым из трубы. До смерти своей Иван проклинал государя Александра Второго, а заодно и его венценосную супругу. Прадед Иван был мужик двужильный, расторопный. Он подлачился хаты строить в нашем хуторе Марушанке и, говорят, преуспел в плотницком деле. И лес он возил с ничейного бора, продавая его по сходной цене казакам. Сил своих прадед Иван не жалел, в работе седьмой пот прошибал его, но судьбе он не сдавался... За дым и воду платил исправно, на сбережения для сына Ивана земли прикупил. Наказывал тому перед смертью: "Иван! Ходи по земле смело, на чужое добро не зарься - свое наживай. Пота не бойсь пролить. Помни: наш мужицкий пот - он благородней кровей господских".

Эх, Иваны, Иваны! Не они ли потом, кровью, трудом своим, с проклятиями и стоном, с извечной тоской по счастью, пробили эту дорогу? Сквозь ущелья и лес, по сыпучим осыпям, по крутым взгорьям... Ничто не преградило их путь, ничто не остановило их. Знать, не было такой силы - сломить их крутой характер, гордую волю.

Я шагаю за бричкой по следам своих предков. Молчу.

Думаю. Обмениваюсь с отцом короткими жестами и репликами. Нам не о чем много говорить, мы должны в оба следить за дорогой. Без лишнего крика, без суеты, весь сосредоточившись на стремлении благополучно спуститься в низину, отец управляет быками. Заядлый курильщик, он даже ночью встает с постели, чтобы подымить, а сейчас накрепко забыл о табаке, о своем кисете.

Он, наверное, забыл обо всем, что не относится к медленно идущим быкам, к грохочущей бричке, к этой старой дороге, которая, думается, никогда не кончится.

Цоб-цабэ!

Сурово обступает нас гудящий лес. Ветер раскачивает деревья, гонит с дальних скал влажный туман в пропасти. Своим быстрым, стремительным падением туман как бы увеличивает жуткую их глубину. Внезапно ветер обессилевает, наступает затишье, и вот со стороны вершин к нам приближается шум дождя. Едва мы успеваем надеть плащи, как он уже припускается над нами, окутывая мгlistой завесой дорогу. Она становится скользкой и еще более опасной.

Дождем горы обложило надолго. Может быть, на сутки, а то и на всю неделю шуметь ему с хмурого осеннего неба. Темнеет, ночь наступает... Скалы, леса, небо сливаются в одно - черное, грозное и бесконечное, внушающее невольный страх. Матерчатый плащ мой промок, фуражка тоже, и я, дрожа от холода, иду с одной мыслью: скорее бы выбраться на простор, в низину!

Бричку заносит куда-то вбок, к темной отвесной стене. Припечки!

- Куда, куда?! - глухо ворчит отец, сдерживая быков. - Эх, не затормозили!

Колеса гремят на каменной лестнице припечек, воз юлит, и я бегу вслед за ним, ухватившись за скользкий брус, чтобы не дать перекинуться бричке. Трещит ярмо, тяжело сопят быки, меня швыряет то в одну, то в другую сторону, и вдруг воз на крутом повороте грузно оседает набок. "Что такое?" - лихорадочно думаю я. И как мы не заметили этих припечек! Да, случилось что-то ужасное, непоправимое... Я останавливаюсь на середине дороги, чувствую, как за воротник проникают струи дождя и бегут по телу, неприятно сводя его мелкой судорогой.

Все кончено. Нам теперь отсюда до утра не выбраться.

А завтра мне в школу: первое сентября! Ребята, наверное, уже приготовились к занятиям: нагладили рубашки и брюки, нарвали в палисадниках цветов для учителей...

А у меня всегда не так, как у людей.

- Федорка, где ты?.. Колесо поломалось.

Пересиливая охватившее меня отчаяние, я иду на голос отца. Слышно, как он возится у

брички, чем-то тяжелым стучит по колесу. Дождь льет. Понуро темнеют быки, скрипя ярмом.

- Одна ступица осталась, а спиц как и не было! Высыпались...

- Ночевать теперь? - обреченно спрашиваю я.

Отец берет с воза топор и пропадает во мраке близкого леса. Вскоре оттуда доносится частый и сильный стук, а потом, ломая ветки, на землю с глухим звуком падает дерево. Я кидаюсь на помощь отцу сквозь мокрые кусты, но он останавливает меня:

- За быками доглядай. Я сам управлюсь.

В его голосе спокойная, разумная убежденность в том, что мы все-таки не застрянем тут до утра, дотянем до караулки. А там дорога ровная. Он такой, мой отец, в трудные минуты: предприимчивый и решительный, готовый на все.

Первое время еще посуетится, повздыхает, но тут же соберется с духом, прикинет, что к чему, - и за работу. Я слышу, как он, тихо побряхтывая, обрубают с дерева ветки, как деловито шебуршит в кустах, и у меня Тоже рождается уверенность: выедем, непременно выедем!

Отец вытаскивает на дорогу ровную и толстую лесину, бросает ее наземь:

- Вот колесо! Просунем ее под ось промеж брусьев, увяжем покрепче и - пошла, посунулась! - И совсем уж весело прибавляет: - Ты, Федорка, носа не вешай.

С таким колесом не то, что до Марушки - до Москвы в пору доедем!

В размочаленных сапогах, до нитки мокрый, он совсем не чувствует холода, даже плащ снял и ворочает брусья в одной фуфайке. В пример отцу я тоже поворачиваюсь живее, работаю у него на подхвате. А это и правда хорошо - верить в свою удачу. Верить, несмотря ни на что!

Тогда и ночь не такая безнадежно темная, и дорога больше не пугает своей неизвестностью. Как-то незаметно мы приладили лесину, по-новому увязали брусья и опять тронулись в путь.

Цоб-цабэ!

Ноет лесина на скользких каменных плитах, чуть слышно шипит, приборматывает в лужах, стойко вынося на себе тяжесть воза. Едем. Все-таки мы едем! Ловок, изворотлив в дорожных делах отец. Другой на его месте растерялся бы и стал дожидаться дня (мол, утро вечера мудренее!), а он спокойно рассудил и нашел счастливый выход... Как ни в чем не бывало шагает опять отец, ведя в поводу послушных быков. Тьма... Шумит и шумит дождь.

В полночь мы подъезжаем к караулке. Волкодавы с угрожающим лаем кидаются нам навстречу, но вдруг останавливаются и затихают, успокоенные хрипловатосердитым голосом Кузьмича:

- Кто это?

Свет электрического фонарика, едва пробивая мглу, ощупывает наш воз. Отец поспешно отзывается:

- Это я, Кузьмич, я!..

Он рад, что навстречу нам вышел Кузьмич, а не другой лесничий. Кузьмич, простуженно кашляя, поднимает тяжелый шлагбаум и пропускает наш воз. Потом они закуривают. Кузьмич спрашивает:

- Ну как?

- Ничего, - говорит отец. - Дорога справная. Я думал, хуже будет, а она - справная... Колесо вот одно смял, так сам же и виноватый: не усмотрел. По припечкам как понесло, думал, и брусьев не беру...

- Дотянешь?

- Теперь не дорога, а чистая скатерть-самобранка.

Только нахлестывай, погоняй быков. Доберусь.

К утру мы приезжаем домой. Мать вышла встречать нас, когда мы только миновали первые дворы хутора: видно, всю ночь не спала, волновалась за нас и, услышав скрип лесины, кинулась на улицу. В накинутом на голову мешке, какая-то маленькая и суетливая, она

заспешила открывать ворота, обеспокоенно приговаривая:

- Дождь ливня льет... Простыли небось? Ой, куда ж тут не простыть!.. Да не разгружайте их, завтра скинете. Будь они неладны, эти брусья... Ступайте в теплое, переоденьтесь.

- После переоденемся, - твердо решает отец. - Мне надо тягло отвезти на стан.

Под неугомонным холодным дождем, мокрые, озябшие до дрожи, но обрадованные голосом матери и тем, что мы уже в своем дворе и не встретился нам Крым-Гирей, мы работали не передыхая. Когда брусья улеглись под забором, дождь внезапно кончился. Мать удивилась:

- Надо же! Он вас как метил.

Переодевшись в сухое, отец поехал на стан, а я залез на печку, блаженно растянулся на теплой дерюге, с удовольствием зажмурил глаза... Какое это счастье - после тяжелой, изнуряющей дороги вновь оказаться на родной печке, где сладко пахнет печеными яблоками! И какая радость – вдруг понять, что ты, как и отец, все пересилил, все смог и опять вернулся в дом вдохнуть его привычного тепла, набраться сил для новых дорог... Спать.

Теперь надо спать. Я заслужил этот сон.

Я сижу во дворе на брусьях, привалившись спиной к забору. Уже полдень, небо давно распогодилось, опрокинуло над хутором свою голубую нежную чашу с белыми барашками облаков. Скоро из школы приедет на велосипеде мой друг Мишка Лукьянов и расскажет мне о нашем десятом "А", о том, кому он подарил за меня букет осенних гвоздик. Я просил его нарвать их для учительницы по русскому языку Екатерины Ивановны, но Мишка по рассеянности всегда что-нибудь напутает, и я тревожусь, подарил ли он Екатерине Ивановне ее любимые гвоздики... Мне немножко обидно, что я не в школе в такой радостный день. Но зато я сижу на брусьях с Синих скал. Настанет срок, мы распилим их на пилораме. Балки отвезем тетке Назарихе (то-то обрадуется она!), а из досок-сороковок настелем гладкий сосновый пол в спальне нашего нового дома. И зимой, в самую лютую стужу, не будет зябко ходить в доме босиком.

Приедет Мишка, я посажу его на брусья рядом с собой и тоже расскажу ему кое о чем. Я расскажу, как мы рубили у Синих скал сухостой, как у нас потом сломалось колесо, но мы не растерялись, и какой был непроглядный дождь в горах...

На дворе свежо, солнечно. Брусья, еще сохранившие холодноватую влагу в коре, пахнут по-особенному терпко и остро. Мне хорошо сидеть на них, полной грудью вдыхать хвойный запах. Мать, белея платком, копает в огороде картошку. Отец с Косоруким ушли на поминки. Кругом тишина, и на душе ясно, спокойно от сознания удачно исполненной работы. Сухостой, прежде далекий и недоступный, теперь смиренно лежит под нашим забором.

Под вечер возвращаются с поминок отец с Косоруким, с ними и мой крестный дядя Ермолай. Все трое, оживленно переговариваясь, любуются брусьями, поддают носками сапог под их изжелта-темные бока, потом чинно рассаживаются подле меня.

- Ну вот, - говорит отец, - и успел! Брусьев привез, тетку добром помянул. Золотое сердце было у нее.

У других ничего не попросит, а сама норовит всех одарить. Детвору за собой хороводом водила: тому мячик тряпичный, тому пряник, той куклу. Со стороны поглядеть - сухая, узкогрудая, одни мощи... А душу имела широкую.

- На дрова покойница скупой была, - вставляет Косорукий.

- Так это что? Это не скупость, - возражает дядя Ермолай, поглядывая на Косорукого голубыми, глубоко посаженными глазами. Сквозит в них кроткий и тихий свет. - За это и простить можно. У нее скупость от беды, а у Крым-Гирея от зла. Федориху люди понимали и жалели, Крым-Гирея не любят.

Не в добрый час дядя Ермолай вспомнил про объездчика: отворилась калитка, и во двор, сторожко озираясь, влетел сам Крым-Гирей, с широкой ременной плеткой за голенищем сапога. Следом за ним вошел и председатель колхоза Данило Иваныч Травкин, седой, приземистый, с обожженным красным лицом. Говорят, на фронте он горел в подбитом танке,

но чудом спасся. На зеленом кителе у Данилы Иваныча колодочка воинских наград.

Я как увидел их, так и обомлел: влипли!

Крым-Гирей окинул цепким взглядом брусья, криво усмехнулся одними тонкими и темными, как сухая земля, губами, с торжествующим видом обернулся к председателю:

- Пняли, какие осины! Не-е, Данило Иваныч, я не ошибуся! У меня глаз ватерпас! Еду утречком мимо двора, смотрю: брусья. Грабитель... - Крым-Гирей широко, властно утвердил на землю ноги в кирзовых смазных сапогах, выхватил плетку, поиграл ею перед отцом. В его глазах так и светилось: "Ну што? Чья взяла?!" - Теперя не отвертишься, - сказал он. - Сам Данило Иваныч в свидетелях!

- Ладно, - строго оборвал его председатель и обратился к моему отцу: - Максим, я тебе какой билет давал? Осиновый?

- Осиновый.

- Выходит, самовольничаешь... Откуда они?

- Это ж сухостой, - с трудом выдавил отец. - С Синих скал... Вспомни, Иваныч, мы были там на заготовках. Ты еще в бригадирах ходил. Туда ж и леший не доберется, все одно сгниют!

Председатель сочувственно вздохнул, помолчал. На войне служили они в одном пехотном полку, Данило Иваныч - командиром роты, отец - рядовым. Случалось, вместе попадали в нелегкие переделки.

- А не твоего ума дело! - вспыхнул Крым-Гирей. - Нехай гниют, а не трожь! Сказано: не рубить сосны - не руби. Закон, пнял?.. Да што с ним толковать, Данило Иваныч. Акт составим и на суд.

- Погодь, - опять осадил его председатель. - Ты, Семеныч, не кричи... Я не глухой.

Поигрывая плеткой, Крым-Гирей обиженно смолк, но виду не подал. Важно, вразвалку прошелся по двору, открыл дверцу сажа и, поморщившись от застоявшегося душка, заглянул внутрь. Кабан недовольно заворочался, завизжал, повернулся задом к объездчику. Того словно муха укусила, хлестнул он кабана плеткой, вскричал:

- Свиной откармливаешь на колхозном добре?! Составим акт - кабаном не расплотишься...

- Отойди, - прошептал отец и встал с брусьев. Руки у него дрожали, лицо стало бледным, но решительным. - Подобру-поздорову отойди.

Крым-Гирей узко засверкал глазами из-под вороновых лохматых бровей и отступил к Даниле Иванычу, не отрывая разгневанного взгляда от моего отца.

- Грози, грози... Ты еще у меня нагроишься.

Приход Крым-Гирея с Данилой Иванычем и разыгравшаяся перебранка были для меня настолько неожиданными, что я еще как следует и не осознал всего, что происходит во дворе. Лишь одна мысль вертелась на уме: "Неужели заберут брусья? И кабана?!"

- Вот курва! - не сдержался отец. - А ну ответь: чего ты с фронта драпанул?

Наболевший и строгий вопрос задал отец Крым-Гирею. Затаившись, все ждали ответа. Косорукий сидел не двигаясь, только вздрагивал всем телом и вертел лохматой головой. Дядя Ермолай, жестко сцепив на коленях побелевшие пальцы, весь подался вперед и глядел то на отца, то на Крым-Гирея. И Данило Иваныч тоже безмолвствовал, старательно сбивал с кителя пыль, поправлял на груди выцветшие планки...

По сей день в хуторе упорные слухи ходят, будто Крым-Гирей в первом бою под Курском отстрелил себе два пальца на правой руке и, обманув командование, вернулся в хутор с документом о непригодности к службе.

Рассказывали бабы и о том, как он поучал своего старшего брата Петра, командира артиллерийского расчета, прибывшего на побывку, учинить над собой то же самое.

Братья подрались, подняли шум на весь хутор, бабы еле разняли их. Но Петро не успокоился. Звякая медалями, всю ночь пьяно носился по огородам, страшно ругался и все искал брата, угрожая прикончить его на месте. На другой день он простился с заплаканной, до смерти перепуганной матерью, смущенно поцеловал ее и пошел напрямик через луга и леса к железнодорожной станции.

Оттуда на фронт отправлялись составы. Спустя полгода Петро погиб смертью храбрых.

Людская молва порой причудлива, но никогда не бывает пуста. Верил в нее мой отец. Не сомневались в ней Косорукий и дядя Ермолай.

- Фашиста испугался? - глухим голосом допытывался отец, медленно наступая на Крым-Гирея. - Оттяпал себе пальцы - и в кусты! А Петро за тебя голову сложил. Не будь вас таких, гляди б, он и жил! Мы и победу раньше б отпраздновали... И ты меня, фронтовика, на суд?! Я Берлин брал, а ты за юбками гонялся, морочил девкам головы... А теперь про закон вспоминаешь? Нет, иуда, не прикрывайся законом. Не грязни его, трехпалый!

Во гневе отец был неузнаваем. Казалось, сейчас он кинется на объездчика, свирепую развяжет драку.

- Я ранетый! - завопил Крым-Гирей, с надеждой оглядываясь на Данилу Иваныча. - У меня документ. За оскорбление личности ответишь! Я это тебе так не спущу.

Данило Иваныч молчал. Только лицо у него багровело гуще прежнего да быстрый нервный тик пробегал по щеке.

- Документ и спас тебя, - промолвил вдруг дядя Ермолай. - Обманом ты его достал, вот что. Документ документом, но мы-то больше про тебя знаем. Нас не обдуришь.

- Што знаете? Што?

- Не юли, законник, - построжел дядя Ермолай. - Видать, мало попало тебе в лесу. Ничего ты не понял.

Смотри: нарвешься еще на горячую руку.

Косорукий встряхнулся, пробормотал себе под нос, как бы сожалея о чем-то:

- Эх, и дурак я. Дурак!

Еще ниже опустил он кудлатую голову, потер бугристый лоб широкой, как лопата, пятерней.

- Ты бы ушел, Семеныч, - сказал вдруг с расстановкой Данило Иваныч. - Иди. Я тут сам с Максимом потолкую. Ну?

Крым-Гирей в замешательстве пожал плечами, сверкнул недовольным взглядом на председателя, пнул ногою калитку и опрометью выскочил на улицу.

- Ладно, Максим! Мы с тобой еще побалакаем!

Звякнули стремяна, взвилась над воротами плетка, и Крым-Гирей поскакал прочь, с ходу взяв в карьер. Гдето уже за хутором вспыхнуло смутное облако пыли, взбитое копытами жеребца.

- Как ветром сдуло. - Дядя Ермолай усмехнулся. - Не понравилась ему наша правда. Эх и человек... Вот сухостой так сухостой! Ни души, ни сердца.

- С гнильцою сухостой, - раздраженно прибавил отец. - От него вред один. Не пойму я, чего его держат в объездчиках. Народ только смущает.

- Вашего мягкотелого брата поставь, мигом лес растащат, - сказал Данило Иваныч, присаживаясь на брусья. - Того и держим.

- А я разве не сторож, Иваныч? - с обидой возразил Косорукий. - Ворюг, сам знаешь, не дюже терплю. Но люди на меня вроде не жалуются. Не слыхал... В законе всего не напишешь. Закон, Иваныч, и сердцем понимать надобно.

- Брусья я не отдам, - сказал отец.

- Свези в колхоз, - требовательно заявил Данило Иваныч. - Он же не успокоится, знаешь его! В районе услышат, худо тебе будет.

- Так, Иваныч... Это ж сухостой!

- Сухостой, сухостой! - рассердился Данило Иваныч. - Кто об этом знает? Там, брат, чешут под одну гребенку: нельзя - и точка! Под видом сухостоя можно ведь и здоровый лес истребить. Есть и такие... Надо понимать. Свези!

Данило Иваныч поднялся и пошел. Но уже у самой калитки задержался, быстро оглянулся на моего притихшего отца, потер лоб и, подумав про себя что-то важное, решительно рубанул воздух рукой:

- А, была не была! Рискнем. Ради тебя, Максим...

Вижу, намучились вы с хлопцем. Небось для Назарихи старались?

Отец молча кивнул.

- Ну, я так и догадался... Вдове надо помочь... Вот что. Дуй за сосной еще раз. Не слиняешь... Эти брусья мы оприходуем как привезенные по билету для колхоза.

Понял? А те, за которыми поедешь, себе возьмешь.

Только чтоб Крым-Гирей не знал. Завтра я тебе билет дам.

Данило Иваныч вернулся и стал прощаться, поочередно пожимая всем руки. И мою руку встряхнул. Сжал ее до хруста в пальцах, произнес повеселевшим голосом:

- Растет у тебя помощник, Максим. Растет!

- А с Крым-Гиреем как? - спросил дядя Ермолай.

Данило Иваныч приостановился у калитки, выпалил с сердцем:

- Я же слухи к делу не подошью! Служит он исправно, снять не имею права. А знаю, чую нутром: прохвост, каких поискать! - Данило Иваныч развел руками. - Но попробуй докажи... На фронте было легче: там такие быстро себя выдавали. А тут еще и похваливаем их. Приходится!

- Да, - раздумчиво вздохнул дядя Ермолай. - Тьма в большую грозу высветляется, и то не всегда. А так мы к ней привыкаем. Вроде она нам по душе. Беда от этого.

Великая беда!

Данило Иваныч ушел, мы остались сидеть на брусьях.

Они теперь были не наши. Отец сказал:

- Иваныч золото человек. Фронтвик. Слыхали, билет мне выпишет? Сосновый... И плевал я на КрымГирея.

Отец уже мечтал о новой поездке к далеким и призрачным, как сон, Синим скалам. Он опять жил дорогой, здоровым и звонким сухостоем у их подножий.

Утром я мчусь на велосипеде в школу, которая находится в девяти километрах от нашего хутора, в соседней станции Кардонной. Захлебываясь прохладой, я жму на педали навстречу восходящему солнцу, пулей проношусь на спусках, легко взмываю на горки, пригибаясь к рулю.

Спицы сливаются в один слепящий круг. Проплывают мимо седые от росы скошенные луга со свежей отавой, встают впереди у самого горизонта сизые осенние дымки... Хорошо!

Сегодня у меня на багажнике сумка, полная еще не прочитанных мною книг. И мой друг, белоголовый отчаянный Мишка, летит за мною следом, вопит изо всех сил:

- Догоню-у-у!

Дорога в школу до глянцевого блеска прикатана колесами грузовиков, изрисована строгой и разнообразной вязью покрывок, исчерчена узкими следами шин... Она совсем не похожа на ту, что поднимается от караулки к туманным вершинам. Мне теперь легче, спокойнее, чем отцу. Ведь ему опять ехать за сухостоем: сегодня утром он получил в конторе из рук Данилы Иваныча "сосновый" билет. Он поедет один к Синим скалам, потому что больше не хочет отрывать меня от занятий.

Это утро началось с радости отца, пусть и дорога его за сухостоем завершится удачей. На душе у меня светло и отчего-то тревожно. Вот и школа. Мы с Мишкой бодро соскакиваем с велосипедов, оставляем их на попечение уборщицы тети Фроси и, шумно и горячо дыша, взбегаем по шатким ступенькам на крыльцо.

Здравствуй, десятый "А"!

...На заре следующего дня отец, взяв быков на стане у дяди Ермолая, уехал один к Синим скалам.

Время неумолимо. Давно уж нет дяди Ермолая и Данилы Иваныча. Их могилы на хуторском кладбище рядом: корявый дубовый крест и обелиск с красной звездой, с потускневшим портретом Данилы Иваныча прячутся за кустами сирени. Поседел, заметно сдал мой отец. Поля нянчит внуков... Из года в год собираюсь я подняться к Синим скалам, да все недосуг. И не знаю теперь, увижу ли их снова. Свет их все еще струится свысока, все еще тревожит, озаряет мне душу - вечный и неизменный, как сама жизнь.